

**Наталья Васильевна САПОЖНИКОВА** —

доцент кафедры истории России  
Нижевартовского государственного  
педагогического института,  
кандидат исторических наук

УДК 82-6

## **ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ДИСКУРС КАК ПИСЬМО В ЭВОЛЮЦИОННОМ ДИАПАЗОНЕ ЕГО САМОРАЗВИТИЯ**

**АННОТАЦИЯ.** Рассматривается письмо как практика записи, трансформированная в эпистолярный дискурс, придающий бытийному аспекту новые эпистемно-экзистенциальные смыслы.

The author tackles the process of letter-writing as the means of record transformation into an epistolary discourse, that adds new epistemic and existential signification to the routine letter information.

Переход человечества в третье тысячелетие сопровождался структуралистическим комментарием по поводу «смещения горизонтов текста и читателя», «взаимопересечения мира нарратива и мира человека». Накопительный текстовый взнос в эту проблему был внесен еще XIX-м веком, создавшим беспрецедентную для отечественной историографии ситуацию культурно-лингвистического торжества эпистолярной формы как жанровой разновидности презентации человека в истории России.

Синтез письма и его эпистолярной формы-носителя — одна из предметных областей данной работы, в рамках которой предложена онтологическая парадигма — структурная трансформация смыслов эпистолярного дискурса (и его историософской проекции — русского эпистолярного наследия XIX в.) как объекта в эволюционном диапазоне его саморазвития. Главный акцент делается не на письме вообще (хотя именно оно в нашем случае является «корпускулярным ядром», квазиосновой эпистолярной формы) или алфавитной записи, обладающей специфичной коммуникативной самостью, а на их *саморастворении* друг в друге с последующим оформлением в органичный субстрат-слияние собственно письма, эпистолярно-адресной упаковки-капсулы на базе психологии, истории, филологии и философской антропологии.

Подобное эпистолярное «оплавление» письма — дополнительные фон и фонд «накопления смыслов» в виде разрешения мотивационного противоречия между подсознательно-глубинными и демонстративно-эпатажными формами не только поведения человека, не исключая и такую, как эпистолярную, но и самого текста в разных его регулятивно-проекционных отражениях. По наблюдению М. Вебера, в науке, предметом которой является трансформация поведения, «объяснить» — означает постигнуть смысловую связь, в которую входит доступное непосредственному пониманию действие. И при всей кажущейся «доступности» порой «пробиться» к его квазисмыслу достаточно проблематично. По убеждению Ф. Гиренка, базисные интуиции культуры давно уже завалены грудой объективного знания, и в каждом из нас звучит «чужой голос». Разум безнадежно заражен иллюзией. Путь же самостоятельного размышления ведет нас к истине, которую нередко нельзя отличить от лжи [1; 92].

Вполне логичным в нашем случае видится изучение письма как практики записи, придающей в отдельных случаях бытийному аспекту *иной* эпистемно-экзистенциальный подтекст, что особенно актуально в тех эпистолярных раритетах, где проявляет себя, с одной стороны, феномен так называемого социокультурного конструирования чувства идентичности («сопричастности»), а с другой — идентификации уникального авторского голоса, перерастающего рамки «своего» времени настолько, что, не исключено, именно ему и позволено будет стать *голосом эпохи*.



Письмо тем самым приобретает символический характер, а сам текст вбирает новое для себя символическое качество.

По мысли того же Ф. Гиренка, в классическую эпоху философия выступает от имени истины и, как священник, освящает бытие, человека и мысль, контролируя духовные процессы и требуя соразмерности вещей и мыслей о вещах, соотносительности разума и бытия. Последнее, в свою очередь, рассматривается как нечто мыслеподобное и в силу этого рационально устроенное. Но как раз бытие и способно выходить из-под контроля рации, обнаруживая метафизическую строптивость и не единожды бросая человечеству экзистенциальный вызов.

Эпистолярный дискурс плавно перешагнул грань не только «философии без философии», состоявшись в главном — как зеркальное отражение духовной субстанции самого человека, следовательно, первоосновы самого процесса познания себя и мира, а значит, неизбежных рефлексий по этому поводу. Вернон Оверли на ремарку о том, что «у человека есть душа», резонно заметил: «На самом деле, человек — это душа, у которой есть тело». Именно в подобном контексте и видится рассмотрение эпистолярного дискурса, где оказались зашифрованы «духовная организация» самой эпистолярной практики, творческий замысел и авторский потенциал, лингвистико-языковые коды, «эхо речи» с его «закадровой» жизнью слова, в том числе исторической, «тень письма» как смысловое служение эпистолярной формы автору, адресату и исследователю, «тело письма» как системно-продуктивный материальный его план, поддерживающий в эпистолярной циркуляции жизни «земной и последующей».

Первозвеном подобного структурирования, естественно, стало слово. Видимая легкость «лингвистического жонглирования» на самом деле является смысловым барьером на пути создания «логос-образов». Хотя несомненна и их изначальность: «Вначале бе Слово...», а затем уже — «Слово стало плотию» (Иоанн. 1,14). С точки зрения В. Н. Лосского, «божественным словом мир вызван из своего небытия, и есть слово для всего сущего, слово в каждой вещи, слово, которое является нормой его существования и путем к ... преобразению» [2; 229]. Катарсис-пророчество О. Мандельштама («В жизни слова наступила героическая эра. Слово — плоть и хлеб. Оно разделяет участь хлеба и плоти: страдание») в дальнейшем приобретает как бы обратный ход: «В кризисный исторический час оплотненность вещей истончается, и в них проступает их логосный первообраз». Душа же, по его представлению, может по-настоящему родиться на свет только вместе со словом [3; 16].

Полученный на бумаге эпистолярный слепок оказывается способен не только спровоцировать поток рефлексии по отысканию скрытого плана бытия, зашифрованного в тексте с его «горизонтами смысла», но и начать процесс конструирования исторического времени посредством, как выразился П. Рикер, «опасного языка». Голландский поэт Мартинус Нейхоф образно освящает этот языковой процесс рождения миров — внутреннего и внешнего, первоосновой чего становится вдыхание человеком чистой бесконечности и извлечение внутри себя из нее пользы. «Как странно, — замечает Нейхоф, — что слова можно создавать лишь с помощью уже использованного воздуха, выдыхаемого человеком» [4; 119].

Д. Б. Зильберман справедливо полагает, что текст в целом стал технологией культуры как историзма, технологией исторического знания, тем самым косвенным образом засвидетельствовав процессуальность формирования ее самой на основе особой системы отбора и сохранности для человечества текстов, оборотной стороной чего является булгаковское — «рукописи не горят». Правда, в отношении эпистолярных раритетов эта формула верна с точностью до наоборот. И прежде чем стать историческим памятником, письма исчезают. Насовсем. В этом также проявляется специфическая странность самой их природы, диалектически соединившей В С Е Г О два слова — «миг» и «вечность». За всяким письмом, кроме его



автора, угадывается адресат, вне зависимости от того, отослано ли оно по назначению, получен ли ответ или же письмо препровождено в архив с лаконичной пометой — «в ответе не нуждается». Существование фальсификаций писем подтверждает высокий исторический статус данных источников, поскольку сам факт их появления столь же информативен, как и процесс дешифровки.

Привлекательность и доступность эпистолярной универсалии, независимость и простота ее коммуникативной активности издавна были востребованы литературой и философией с целью более глубинного осмысления исторической практики в ее субстанциональном и интенциональном измерениях. На протяжении всей истории развития человечества письмо так или иначе всегда оказывалось в орбите философских интересов человечества, правда, скорее на их периферии, нежели в центре. Но зато появилось оно прежде всего как дискурс власти, как архаико-деспотический феномен, позволяя заглянуть в существо тех социально-государственных связей, что в дальнейшем трансформируют их в своеобразный властный институт. От этого само письмо получило название «деспотическое», предъявляя своим творцам определенные смысловые, стилевые и жанровые «претензии».

Древние греки осознавали ценность эпистолярной формы, оставив истории классические ее образцы, превратившиеся в трафарет для подражательства. Они сумели соединить несоединимое через универсализацию формулы — «всеобщее рождается единичным», «растворяя» друг в друге «стихию» и «букву» и предопределяя тем самым в дальнейшем особую судьбу письма. В античной философии широкое распространение получила мифологема Платона о письме, доверившего свои диалоги бумаге, сохраняя прелесть присутствия оппонента-собеседника с эффектом живого общения. Между тем он разводил истинный смысл письма и фактических носителей, полагая, что эпистолярный тренинг делает людей причастными к великому процессу постижения истины через «привыкание» к «небесному знанию». Его философия была уравнена с философией письма, где главным выступила трансляция истины — пандейя, вне чего все теряло свой смысл.

Примечательно, что несколько тысячелетий спустя подобный программный взгляд был заявлен в творчестве русского философа В. В. Розанова, для которого письмо и смысл также оказались слиты воедино. Даже несмотря на скепсис Сократа, пенявшего на то, что истинный смысл письма либо скрыт, либо ложен, и тем снимая вопрос о серьезности самого предмета обсуждения, таинство власти греков над письмом позволило им обрести статус «местоблюстителя» в «космосоциуме» и стало по существу их исторической судьбой и родиной. Мифологическая же речь, храня, воспроизводя и транслируя смыслообразование живой речи, передала свои функции именно письму как долговременному историософскому объекту.

Римляне оказались честолюбивее своих предшественников, продолжив их эпистолярные традиции. Цицерон писал конкретным адресатам, но рассчитывал издать и обнародовать свои письма, определяя их стиль как «разговорный язык». Свой особо утонченный «эпистолярный почерк» оставили Сенека и Плиний Младший, которые, напротив, тщательно шлифовали не только словоформу, но и «стилевой концепт» эпистолярия — заключенную в нем эстетически упорядоченную частицу сознания как зеркальное отражение мира человека. Примечательно, что именно эти, намеченные еще античностью семантические полюса (писать как говорить, или наоборот, заботиться о конструкции текста и его сценарной «обкатке»; читать и перечитывать письма) сопровождали историю письма на всем его протяжении.

Средневековые философы усматривали связь религиозных откровений с записью, главный акцент делая на букве как микрочастице макрокосма. Схоласты заметили, что буква как зеркальная матрица слова живет своей самостоятельной жизнью и может говорить много больше, чем производная от нее морфема, видоизме-



нить которую было в силах ее собственной первооснове. Много позже в «Гранях Агни Йоги» прозвучит: «Следует помнить, что каждое слово имеет свой звуковой код».

Создатели славянского алфавита — Кирилл и Мефодий также полагали, что всякая буква несет СВОЙ смысл «поверх» слов, предложений и текстов. Священный трепет человека перед способностью букв «вдруг» оживать в звуковом регистре и доносить смысл «подуманного», свидетельствует, по сути, об обратной связи глубоко скрытого буквенного «шифр-кода» и подсознательного знания — инсайта об этом. Разрисовка, «малевание» заглавных букв — еще один дополнительный штрих — свидетельство таинства буквенно-звуковой мистерии, сводимой в текст и на сегодня фактически утраченной.

Уклады письма ценностно иерархизировали письменный массив, в русской традиции используя различные алфавиты для высокого и низкого языков, в то время как на Западе «работала» латынь с ее многоукладными шрифтами. Русские философы издавна обращали самое серьезное внимание на проблемы древнерусской записи, поскольку она затрагивала самое сокровенное и сущностное не только в исторической и религиозной, но и метафизической проекциях.

Эстетика зарождавшихся европейских салонов Нового времени открыла в письме возможности демонстрации нового литературного, по-светски игривого и изящного языка, виртуозность владения которым рассматривалась как дополнительное свидетельство принадлежности к «избранной» публике. Одним из них стала публикация в России 1792–1793 гг. оригинального сочинения Александра Писарева «Переписка двух адских вельмож, Алгабека и Алгамека, находящихся по различным должностям в старом и новом свете, содержащая в себе сатирические, критические и забавные происшествия, повести, анекдоты и другие удивительные сцены нравственной жизни людей обоего пола. Переведена с арапоеврейского языка грекояпонским переводчиком в 1791000 году».

В XVIII–XIX вв. возникла философская литература, как нечто самостоятельное и стоявшее как бы над всем, в том числе наукой знания. А это означало, что поистине письмо обратилось к условиям своего собственного существования, а письменный акт стал самоцелью: «Гегелевская диалектика развертывалась как демонстрация себя практикой письма. Гегель заложил письменную философскую дискурсию в основание всякого возможного философствования, что и стало пиком власти письма над философией». С таким классическим выводом можно согласиться, хотя в российской историософской практике этот вариант получает свое оригинальное прочтение — эпистолярное.

Судьба письма в XX в. резко изменилась: как предмет философских исследований, оно уверенно переместилось с периферии в центр научных интересов, тесно переплетаясь с онтологической и гносеологической проблематикой. Главным эпистемно-смысловым подтекстом всех современных теоретических конструкций стала проблема соотношения письма и философии. Философия письма, это «думанье рукой», присутствует во всех нарративах. Но параллельно с этим «присутствием» нарастает тенденция к самовыражению письма (или письмом). Длительное время из-за излишней его мифологизированности ему приписывалась некая нейтральность в отношении к мысли. А это автоматически «выводило его из большой философской игры», где ставкой было участие на равных в поисках смысла. Считалось (отчасти считается и поныне), что практика письма пребывает где-то во внефилософской реальности со всеми вытекающими отсюда онтологическими для него последствиями.

Письмо рассматривается как концентрат двух вариантов видения и типов мышления. С одной стороны, оно предстает как феноменологическая данность рукописной культуры в целом. С другой — в виде субстрата эпистемологии, «сопротивляющегося вторжению возможного смыслополагания», что ввело в западноевро-



пейскую философскую традицию тему пределов смысла и грани философии. Органичной ее частью и стал эпистолярный дискурс XIX в., позволяющий в значительной степени пролить свет на возможности философского знания.

Само письмо как дефиниция и предметное поле «созревали» в процессе собственного метафизического становления. Хотя понятийный абрис письма *как процесса* до сего дня весьма расплывчат, а его толкование варьируется в достаточно широких пределах. Рассмотрение письма *как текста* неизбежно рождает материальный его план, а затем — перформацию и коммуникацию. И. Е. Гельб очерчивал понятийный ареал, «перевертывая пирамиду»: «Письмо — это система взаимной коммуникации людей при помощи условно применяемых зримых знаков» [5; 24]. Думается, есть смысл определить содержательную компоненту собственно предмета нашего разговора с избирательным накоплением информации о первом (материальном) и последнем (коммуникации), что может существенно прояснить специфику и глубину такого феномена, как эпистолярный дискурс.

Коммуникативная характеристика письма, в редакции А. А. Волкова [6; 40] (что близко и нашему видению предмета разговора), является базовой для всей системы функционирования письма: письмо как графическое нанесение знаков в контексте определенной культурно-исторической традиции; письмо как апелляция к созерцанию, *а значит, и рефлексии*; индивидуально присущие письму коммуникативные ресурсы возможного переброса не только в иные каналы связи (нелегальное распространение и печать, тиражирование) при сохранении линейного порядка письменных знаков, но и придание самому характеру письма иной жанровой универсалии, как в случае с эпистолярием XIX века.

Структуралистская доктрина, оказавшая серьезное влияние на развитие и постулирующая самодостаточность письма, проводит четкую грань между ним и системой речи, представляя письмо самостоятельной схемой. Эта позиция лингвиста И. Вахека дополнена и расширена философской аргументацией В. Подороги о несводимости коммуникативных возможностей письма к возможностям устной речи и расширении самой «практики феноменологии» за счет включения в нее в том числе «телесного опыта». А. Артимович выдвигает спорную, на первый взгляд, мысль о существовании двух параллельных в своем развитии языков — письменного и устного [7], хотя, думается, спорным здесь может быть лишь вопрос о степени удаления и взаимовлияния первого и второго.

Как самостоятельное проблемное поле письмо изучается сравнительно новым научным направлением — философской грамматологией, заявленной трудами как зарубежных, так и отечественных философов, лингвистов, историков. В качестве предмета исследования было обозначено стремление изучить приемы письменной композиции текста, а также историю институализации текста, развернув сравнительный анализ взаимоотношений знаковости, письменности и письма. Грамматология по-своему препарировала понятие «письмо» через придание системности взаимной коммуникации с помощью условно примененных знаков. У ее истоков стояли И. Гельб, И. Фридрих, М. Фуко, Ж. Деррида, А. Эккарт.

В трудах Ж. Деррида, например, проводилась идея тотальной универсализации письма, превращавшая его в горизонт всякого смысла, не исключая, возможно, эпистолярно-метафизический эффект его «эхолокации» как разновидности «разговора с отсутствующим». Об этом, в частности, размышляет и П. Рикер: «... В конечном счете, то, что сообщается, — это стоящий за смыслом произведения мир, оно проецирует и ...образует его горизонт. Слушатель или читатель обретают этот мир в соответствии с их способностью восприятия...» [8; 95]. В работе «Письмо и различие» Деррида полагает, что «именно в эпохи исторического СМЕШЕНИЯ, когда мы согнаны с МЕСТА, развивается сама эта структуралистическая страсть,



которая оказывается одновременно чем-то вроде экспериментаторского пыла и размножающегося схематизма». Но «форма», — по его замечанию, — соблазняет, когда нет больше сил понимать ... изнутри ее самой. То есть творить» [9; 13, 11, 43].

Российская историко-эпистемологическая мысль представлена рядом трудов, где налицо уверенное освоение грамматологического пространства на уровне осмысления особенностей функционирования различных видов письменных текстов, в том числе личного происхождения, форм и методов присвоения человеком или группой бытующих в обществе представлений и культурно-ментальных стандартов и просто «погружения» в самую практику письма. Труды Н. М. и М. М. Бахтиных (во многих позициях необычайно талантливо предвосхитивших озарения западных грамматологов, а последнего П. Рикер назвал «гениальным критиком»), А. Кондратьева, Ф. Гиренка, А. Волкова и других стали откровением для западной науки, не ожидавшей встретить в России столь высокий уровень философских обобщений и глубину научного анализа.

Современная нарративно-эпистемологическая парадигма открыла перспективы корпоративного исследования таких явлений культурно-исторического порядка, как письмо и эпистолярный дискурс, рассмотрев частные аспекты их актуализации — типологии структуры, функциональные компоненты. Но у истоков этих концептуальных построений находится возвращаемый в философию розановский метод письма с его почти платоновскими «интонациями». Суть его схемы в том, что письмо и смысл у него оказываются фактически слиты: смысл растворен в письме, а практика письма превращена в основной научный метод собственно философской рефлексии, сведенной позднее в наиболее зрелую часть всей его философской работы. В «Уединенном», выход которого стал свидетельством рождения великого философа, он ввел парадоксальную, на первый взгляд, стратегию «провокационной» искренности письма с ее главным методом — стремлением максимально сократить дистанцию между «просто подумал — и вдруг написал». Розанов создает «спонтанное» письмо, как бы без целевого обдумывания замысла, рефлексии и «шлифовки» текста. Но эта «игра в непосредственность» — способ разговаривать «тело письма», когда думают в самом процессе писания [10].

В дальнейшем эпистолярное письмо как текст высветило несколько смысловых пластов — письмо как язык; как слово; как знак; как символ; как жанр; как раритет; как культурное наследие; и в конечном итоге — как проявление божественного через человеческое, т. е. все то, что оказалось *ментально прочерчено* в эпистолярном дискурсе. Наиболее подвижными и практически не изученными стали гносеологические грани метафизической проявленности эпистолярного дискурса на уровне его структурирования. Так, дисциплинарная практика письменного высказывания оказывается отличной от простого факта существования записи, которая манифестирует процесс «написания», подчеркивая наличие алфавитного «нотного стана». Практика высказывания, напротив, стремится пробиться к самому высказыванию, делая процесс записи прозрачным.

Данная форма письма как «контрапункт» эпистолярной практики проходит несколько ступеней своего диалектического созревания. **Первая** — это многообразие составляющих того процесса деятельности, что позволяет реализовать потребности личности и культуры в целом через коммуникативную проявленность желания *самовыразиться*, невзирая на расстояние (и чем больше расстояние — тем сильнее эта потребность?).

**Второй** видится собственно *акт рукописания* в качестве условия усвоения человеческого опыта и одного из «трансмиссионных» способов его передачи. В XIX в. эпистолярная разновидность этого процесса приобрела черты особой ритуализации, вобрав в себя поведенческо-бытовые и экзистенциально-феноменологичес-



кие институты, став особой дискурсивной практикой с ее магией «оживления» бумажного текста, метафоризацией эпистолярного действия, введением в оборот устойчивых «эпистолярных» словосочетаний. Смысловым подтекстом письмописания является вербальная коммуникация на расстоянии с выделением определенной целевой мотивационной заданности подобного рода деятельности.

**Третьей ступенью** выступает так называемая «коммуникативная стратегия», понятие, заимствованное из языка западноевропейского языкознания, которая дисциплинирует процесс написания, цензурируя и пресекая, по словам В. Подороги, нарастание избыточности при коммуникации. Полицейский надзор за перепиской вынуждал тех же арзамасцев совершенствовать искусство эзоповского языка. А. Пушкин в разговоре с П. Вяземским замечал, что только письма, посланные через частных лиц, т. е. без автоцензуры, были написаны им «спустя рукава». При подготовке к публикации эпистолярного наследия Достоевского его жена, А. Г. Достоевская, тщательно вымарала и даже подчистила резинкой наиболее интимные места писем мужа. Аналогичный процесс «высушивания» полифонии характерен для служебной и хозяйственно-деловой переписки, хотя и здесь XIX в. внес свои коррективы, «путая жанры». Визуализацией обратного процесса с усилением коммуникативно-проекционной доминанты может быть тип *классического* дружеского письма с его эмоциональной и логосной раскрепощенностью, обаянием звучания резко индивидуализированного голоса и особым духовным родством автора с адресатом.

Коммуникативная стратегия другой его разновидности может, напротив, создавать новые смысловые планы с резким нарастанием сценарного динамизма, как, например, в случае с уникальной «дружественной» перепиской периода осады Севастополя между английским вице-адмиралом Лайонсом и контр-адмиралом В. И. Истоминим, знакомыми еще со времен средиземноморских походов. Лайонс вместе с письмом прислал честерского сыра. 25 ноября 1854 г. Истомин дал ответ, долгое время ходивший среди защитников Севастополя в списках: «Любезный адмирал! ... Через столько лет мы опять вблизи друг от друга; ... мне можно вас слышать, ... голос мощного «Агамемнона» (которым командовал Лайонс — Н. С.) раздался очень близко, но я не мог пожать вам руку. В таких-то, слишком, по-моему, церемонных формах благодарю вас за добрую память и ... дружескую присылку. Позвольте мне, в свою очередь, предложить вам добычу недавней охоты: крымские дикие козы превосходны. Вы отдаете справедливость нашим морякам ... ; они, действительно, заслуживают похвалу судьи, столь сведущего, но, как мне кажется, несколько взыскательного. Они наша гордость, наша радость! ... Примите ... изъявления моей преданности» [11; 911–913].

*Перформативная сторона* письма — это и есть, собственно, синтез процедуры акта записи и само записываемое, что ставит задачу понимания смысла действия записи в его корреляции со смыслом записанного, когда действие порой выше смысла письменного высказывания. «Нарочитый» акт записи — не просто «механика», а некий ритм с «пространственно-временной локализацией» личностного бытия. С этих позиций эпистолярное письмо становится смысловым императивом-вызовом, бросаемым автором прежде всего самому себе, вовлекая в этот процесс адресата и иных «собеседников».

Выстраивая логосную диспозицию, письмо XIX в. обнаруживало необычайную серьезность контакта со *словом*, где местоимения и существительные программировали появление *глаголов действия-вызова* резонансного звучания, как, например, преддуэльный цикл А. С. Пушкина. «Инициатор» его рождения — письмо-«розыгрыш», письмо-«шалость» демонстрировали на уровне эпистолярного поведения привычный тип русского эпатажного дендизма — азартной «игры» с огнем, пламя которого опалило почти равно одинаково всех. В *парижском* послании сына великого историографа А. Н. Карамзина матери от 24/12 февраля 1837 г. в связи с



гибелью А. С. Пушкина так и заявлено: «...Я плачу с Россией ... Поздравьте от меня петербургское общество ..., оно сработало славное дело! Пошлыми сплетнями, низкою завистью к Гению и красоте, оно довело драму, им сочиненную (еще одна игра в жизнь? — Н. С.), к развязке...». Полгода спустя, после встречи с Дантесом и разговора с ним, автор в письме вдруг роняет: «Бог их рассудит...» [12; 291, 318].

На первый взгляд, все, что запечатлено в виде эпистолярного текста, это прежде всего — *кто, кому, когда, зачем и что* именно написал. И лишь потом следует — *на чем*, с помощью каких приспособлений и *средств*, форма записи и пунктуации, объем и порядок переписывания, перечитывания и позже — опубликование, орнаментация, наличие авторских купюрных изъятий и пр., т. е. известный режим материальности, влияющий на условия повтора записи, переписи, переадресовки и т. д. Иначе он может быть назван «*телом письма*» как опредмеченный план функционирования эпистолярного дискурса, растворяющего в себе эти уровни, а иерархическая цепь их предметно-смыслового соподчинения постоянно меняется в зависимости и от исследовательского ракурса зрения.

С подобных позиций «эпистолярное тело» — системно-продуктивный материальный план, обеспечивающий функциональную коммуникацию через наличие элементарных ее связей — орудий написания, оперативности почтовой доставки, сохранности раритетов и возможности их повторного прочтения и передачи другим лицам. Изъятие одного из них может ставить вопрос о видовой дискурсивной принадлежности. Так, например, письма-дневники поэта А. В. Жуковского, написанные в 1814–1815 гг. для любимой племянницы М. А. Протасовой, из-за трудности почтового сообщения, в ожидании оказии, были объединены в единый цикл маленьких записных книжек [13; 183].

Эпистолярное письмо саккумулировало все признаки разом (материальные, перформативные и коммуникативные), создавая феномен вневременного присутствия автора, хотя каждый из них, на том или ином плане самовыражения не является абсолютно атрибутивным. По существу — эпистолярный выступает как автономная, но очень динамичная, информативно и эмоционально заряженная система. Образованный человек XIX в. постепенно обретал привычку посредством письма давать сначала себе, а затем и другим почти ежедневный отчет, стремясь записать, удержать, а значит, прояснить смысл происходившего в его жизни, судьбе страны, причем делал это на максимально откровенном и даже сокровенном уровне, который у корреспондентов оказывался порой приближен к темиургическому Абсолюту. «Ни с Богом, ни с собою лицемерить нельзя», — заметил П. А. Вяземскому в одном из своих писем В. А. Жуковский.

Проявленность самости эпистолярия возможна, в частности, при условии четко заявленного предпочтения именно эпистолярной коммуникации перед любой другой, например, записками, мемуарами, либо же отказ от нее. П. А. Вяземский в письме к Жуковскому от 12 апреля 1846 г. по поводу известия о смерти их общего друга А. И. Тургенева многозначительно роняет: «...Я не пишу, потому что не пишется. *Письменная жила* (курсив — Н. С.) во мне остыла и онемела. Из нее уже не бьет чернильный кипяток, как во времена оно. ... Лучше молчать, особенно же на письме не выразишь. Перо худой и слишком материальный и многосложный проводник» [14; 205].

Ранее именно он наводнил эпистолярную практику метафорами о «чародействе» чернил, которые у него сродни вину и крови, а перо трансформировалось в оружие, что стало позднее почти избитым сравнением с буквальным толкованием подобной синонимической параллели. Перо как орудие эпистолярного процесса, а значит, как элемент тела письма, на протяжении всего XIX в. будет обыграно и в поэзии, и в эпистолярии не единожды, достаточно вспомнить пушкинское «рука потянется к перу, перо к бумаге, минута — и...». Тем самым, с одной стороны, перу отводилась роль важ-



ного передающего звена самого творческого процесса, с другой — его образ утрировался и одновременно насыщался метонимическими красками, как, например, в шутовском сравнении московского почт-директора А. Я. Булгакова, которого В. А. Жуковский вывел гусем, утыканным перьями, каждое из которых «готово без усталости писать с утра до вечера очень любезные письма» [15; 462].

Но у Вяземского прорезалось более глубокое понятие — «письменная жила», наличие которой решало в конечном итоге, состояться или нет «телу» и «тени письма», отзовется ли «эхо письма» и каким образом в закадровой, реальной жизни. Подобная эпистемная дуга (тело — эхо — тень письма) возможна в условиях, когда эпистолярный текст перерастает отведенные ему жанровые границы, стремясь максимально плотно разместить актуальную для всех участников коммуникации информацию, оживающую как скрытое начало — «эхо письма» или «тень письма». Сестра М. Лунина, перечитывая письма брата, как она говорила, их «истолковывала», усиливая смысловую доминанту авторского замысла. Д. Х. Ливен (урожденная Бенкендорф) в письме к Гизо от 1838 г., прощаясь, грустно замечала: «...Я пойду перечитывать ваше письмо; но перечитывать его значит плакать. Дайте мне сил» [16; 613]. Одной фразой здесь было «развернуто» чтение в процесс самоидентификации через особый контакт с письмом и его автором, программируя обратную связь.

Писать письма означало не просто занять свое свободное время, а в *специально отведенный* для этого *день и час* прожить *эпистолярный миг*. В письмах к А. И. Тургеневу от 7 ноября 1810 г., 31 октября 1816 г. В. А. Жуковский так и пишет: «Иногда в час, определенный для переписки, в голове моей сидит геморрой, от которого душа как мертвая. ... Хочу, чтобы рука писала от сердца (разр. — В. А. Ж.) Но как писать, когда голова в споре с сердцем!». «...Писать как можно лучше, ... И жить как пишешь, вот и все» [11; 392, 807]. Само суточное время приобретало эпистолярный «отсчет» — «почтовый день» (т. е. день отправки почты), «тяжелая почта» (почта утренняя и вечерняя, предназначенная для посылок). Постоянные жалобы поэта на «эпистолярную лень» или «эпистолярную чахотку» (нерегулярность переписки) скорее создавали резерв для собирания творческих сил, так как его эпистолярное наследие поистине громадно, даже по меркам пушкинского времени, и стало итогом кропотливой шлифовки каждого словообраза и эпистолярной формы в целом.

Характерной чертой эпистолярного дискурса XIX в. становится антропоморфизация переписки, переброс на нее неких привлекательных для человека черт, отсутствие которых в жизни позволяет, как, например, Ф. И. Тютчеву в письме к жене от 17 сентября 1851 г., воскликнуть: «Почему я не это счастливое письмо, которое летит к вам в Москву!» [17; 12]. Письма Ф. М. Достоевского выросли в сознании его жены Анны Григорьевны в некую органичную часть не только их прошлой жизни, но и той ее реальной составляющей, что проходила уже без самого писателя: по словам ее подруги М. Н. Стоюниной, с письмами мужа А. Г. Достоевская не расставалась ни днем ни ночью и всюду их с собой возила. Это подтверждает наблюдение, согласно которому «эпистолярная жизнь» иногда может быть насыщеннее и талантливее, чем реальная, иначе она не смогла бы трансформироваться в эпистолярную литературу, где человек порой раскрывался гораздо многограннее и интереснее, чем в прожитом экзистенциальном дубле.

Эпистолярный текст нередко приобретает характер своеобразного акта верификации как специфично-трансцендентного доказательства истины, не говоря уже об эффекте семантической фасцинальности, т. е. подсознательно-смыслового воздействия, когда влияние автора на адресата (коим могла стать в XIX в. вся читающая Россия) выходило за рамки не только эпистолярного самореферирования, как, например, переписка А. Н. Герцена и М. Бакунина, или публицистичности диалога, как в случае с «Историческими письмами» П. Лаврова, но и создавало общественно-по-



литический прецедент взрывного активизма мысли в закрытой общественно-политической системе России. Особенно ярко это проявилось в публикации переписки декабристов и серии публицистических «безадресных», а также открытых писем первым лицам империи — того же Герцена Александру II, забытой ныне М. К. Цебриковой Александру III. Сами подобные факты и способы кодирования информации на эпистолярном уровне свидетельствовали о переходе эпистолярия на уровень мета-эпистолярия с его возможным *взаимозамещением* дискретных составляющих таких дефиниций, как «общественное сознание», «общественное мнение» и пр.

У эпистолярного письма есть и поистине уникальные, специфические свойства, которые почему-то игнорируются исследователями. Речь идет об иллокутивных (т. е. активно формирующихся как самим процессом написания, так и программируемых автором, нередко неосознанно, способах, формах и даже образах восприятия информации и реакции на них на подсознательно-внушаемом уровне) способностях воздействия письма как на самого автора, так и на потенциального читателя-адресата, а также исследователя (!) при попытках интерпретационного его прочтения, что, в принципе, может стать самостоятельной областью исследования. Глубинная психология человека, равно как и дискурсивные резервы письма, такова, что разговор с «другим» скорее предоставляет возможность еще раз оказаться наедине с самим собой и разрешить в письменной эпистолярно-адресной форме возникшие (а порой еще и не вполне осознанные) сомнения, и уже в самом *процессе письма* попытаться их разрешить. Автор, мысленно разговаривая с потенциальным собеседником, даже если письмо не будет отправлено, зависит от адресата, поскольку и взялся-то за перо, надеясь на понимание *именно этого* человека, а никакого иного. Так происходит рождение своеобразной эпистолярной пандейи, что несет в себе дополнительные расширяющиеся характеристики либо самого образа автора, как, например, в случае с малоизвестной перепиской Н. В. Станкевича, письмами К. П. Победоносцева, обращенными к Тютчевой, либо эпистолярного дискурса в целом, что меняет наши представления о способах презентации человека в историософско-хронологическом масштабе.

В подобном контексте письмо переживало различные дискурсивные состояния, в том числе и те, от которых напрямую зависела судьба российской короны, например, периода междуцарствия 1825 г., когда на почтовых перегонах между Петербургом и Варшавой в переписке двух Павловичей — Константина и Николая решался вопрос о престолонаследии, ставший для России *вследствие этого* настолько фатальным. Но эпистолярный дискурс — это еще и особая форма экономической циркуляции и обмена. В эпистолярной его разновидности именно «манускриптность», рукописность придают ему особую цену, выставляемую также на продажу, и тем превращая в товар (через придание ему экспертной самости и ценности) как часть, пусть специфичного, «производственного цикла» (например, аукционного). Собирателем эпистолярного наследия, издателем «Русской старины» М. И. Семевский был настолько глубоким его знатоком, что даже среди анонимных подлинников мог с экспертной точностью определить авторство по почерку, тем самым вновь возвращая им признак «манускриптности».

Подводя некоторые итоги изучению специфики функционирования эпистолярных текстов как разновидности рукописей личного происхождения и как специфично-дискурсивный предмет философской рефлексии, имеющий право быть заявленным, следует осознать степень гносеологической важности его разработки. Это позволяет расширить источниковый и методологический арсенал средств для углубления, а в ряде случаев и коренного изменения нашего взгляда на происходившие в России XIX в. события, а также степень *значимости присутствия* в истории «носителей» авторских голосов. Являя собой оригинальный дискурсивный



синтез философского, исторического и психологического начал, эпистолярный XIX в. состоялся в культурологической, экзистенциальной и гуманитарно-антропологической проекциях, став больше, чем просто «лист с начерченными на нем письмами». Он приобрел собственное «тело письма», смог отразиться как его «эпистолярное эхо», незримой «тенью» сопровождая путь человека в эпистолярно-историческое «воспоминание о будущем».

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гиренок Ф. И. Ускользящее бытие. М., 1994.
2. Лосский В. Н. Очерк лингвистического богословия Восточной церкви. Догматическое богословие. М., 1991.
3. Цит. по: Кихней Л. Г. «Звучащая и говорящая плоть...». Акмеисты о природе слова // Русская речь. 1998. № 1.
4. Нейхоф М. О собственном творчестве // Звезда. 2002. № 2.
5. Гельб И. Е. Опыт изучения Письма (Основы грамматики). М., 1982.
6. Волков А. Грамматология. М., 1971.
7. См.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967; Подорога В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию: Материалы лекционных курсов, 1992-1994. М., 1995.
8. Рикер П. Время и рассказ. М.; СПб., 2000.
9. См.: Деррида Ж. Письмо и мышление. М., 2000.
10. Розанов В. Уединенное. СПб., 1912; Он же. Опавшие листья. СПб., 1913.
11. Русский архив. 1867. № 11.
12. Старина и новизна. 1914. Кн. 7.
13. Тодд У. М. Дружеское письмо как литературный жанр в пушкинскую эпоху. СПб., 1994.
14. Русская старина. 1902. Октябрь.
15. Цит. по: Троицкий Ю. Л. Эпистолярный дискурс в России XIX века: пощечина, розыгрыш, дуэль // Традиция и литературный процесс. Новосибирск, 1999.
16. Русская старина. 1903. Декабрь.
17. Старина и новизна. 1914. Кн. 18.

**Лилия Васильевна ДЕМИНА** –  
старший научный сотрудник  
сектора филологии

Института гуманитарных исследований,  
руководитель фольклорного центра «Росстань»,  
кандидат искусствоведения

УДК 398.3

### **ТРАДИЦИОННЫЙ СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ (ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН) ЗАПАДНОЙ СИБИРИ**

**АННОТАЦИЯ.** В статье рассмотрен традиционный свадебный обряд поздних переселенцев (русских, украинцев, белорусов) Тюменской области. Комплексный подход в изучении ритуала выявляет типологические и индивидуальные черты, обусловленные различием мест формирования и времени его локализации в Сибири. Рассмотрены основные символические языки, определяющие характер планов содержания и выражения в свадебном ритуале переселенцев.

The author dwells upon traditional wedding ceremony of later Tyumen Region settlers (Russian, Ukrainian, Belorussian), and, having employed a complex approach to the study of a ritual, traces typological and differential features that are determined both by time and location of a definite ritual in Siberia. Further major symbolic codes, that comprise the peculiarities of planes of content and expression in a wedding ceremony of settlers, are scrutinized.